

ВСТРЕЧА В ПАРКЕ

рассказ

Вера СЫТНИК

г. Ессентуки



Ольга сопротивлялась несколько дней, но всё же мать заставила идти вместо себя в Курортный парк продавать малину. Видите ли, ей самой невольно тащиться через весь город. Мол, годы уже не те, чтобы прыгать по маршруткам. «Прикидывается», — думала Ольга, заправляя постель. Да, матери восемьдесят. Когда-то у неё был муж — Ольгин отец. Но ещё в молодости ушёл к другой женщине, уехал в Сибирь и прежней семьёй не интересовался. Правильно и сделал, считает Ольга. Жить с такой мегерой не каждый сможет. Глянешь со стороны — скрюченная старуха! Баба-яга. Еле ноги переставляет. Но сил хватит на троих таких, как Ольга. Ольга повозится по дому и падает в кровать, отдыхает. А мать день-деньской на ногах. Присядет на минутку — и снова к бесконечным грядкам. Сognётся в три погибели и не разгибается весь день. Ольга же, если прополет один ряд картошки, потом целый день отлёживается. То же, поди, не молодая. Пятьдесят семь лет, тридцать из которых отдубасила на молокозаводе, где и сорвала спину. Мужиков-то раз-два и обчёлся, а бидоны таскать надо было.

Слава богу, успела до реформы уйти на пенсию, а то бы и сейчас ворочала громадные канистры. «Хоть в чём-то повезло», — зло ухмыляется Ольга в минуты раздумий над своей незадачливой судьбой. В двадцать лет вышла замуж. Привела мужа в дом, за занавеску. Думала, заживут. На Чёрное море будут ездить. Оно от Ессентуков в тринадцати часах езды поездом. Никто не поверит, но Ольга так ни разу и не добралась до него. То спина отваливается, то денег нет, то картошку копать. Да и одной отправляться в дорогу страшновато. Все парами едут или семьями. Ольга была готова взять мать, но ту не оторвать от грядок — как привязанная ходит с тяпкой. А потом на базар прётся — продавать то, что вырастила.

В двадцать два года Ольга из-за этих проклятых бидонов потеряла ещё не родившегося ребёнка. Потом заболела. Пока таскалась по больницам, муж сбежал, прихватив денежные сбере-

жения из комода. Мать копила на тёплый сортир. До сих пор проклинает бывшего зятя, а заодно и дочь, которая привела в дом «разбойника». Так в сарайчик и ходят. Ольга ненавидит и дом с его отвалившимися ставнями, и деревянный туалет, где долго не посидишь, и мать. Старуха всю душу изъела разговорами о грядках да базаре. Вздумала козу завести. Манька вечно голодная, орёт благим голосом. Мать костерит Ольгу последними словами, ругает, что дочь не хочет пасти козу на пустыре.

— Сдалась она мне! — кричит в ответ Ольга. — Ты завела, ты и стереги! Что я, девочка, чтобы за козой ходить?

— Тогда и молока не пей!

— Пропади оно пропадом, твоё вонючее молоко! — отвечает Ольга и к молоку не прикасается.

А когда мать доит козу, сидя на крыльчке, демонстративно выходит на улицу с кружкой чая, забелённого пакетированным молоком. За него ей тоже достаётся.

— Деньгами швыряйся? — ворчит старуха, когда видит, что дочь принесла магазинного. — Дома полно своего, а она, ишь, паскудница, казённое пьёт.

— Ты же мне запретила козье, — напоминает Ольга.

— И правильно. Неча Манькино пить, ежели не хочешь её кормить.

— Да к чёрту тебя вместе с твоей Манькой. Я и магазинным обойдусь. — Ольга швыряет пакет с молоком в холодильник и уходит за занавеску, бросая на ходу: — Всё копишь, копишь. Куда копишь, непонятно! Платок бы себе купила, — подразумевая, что мать тоже не пьёт молока, а продаёт его на рынке.

— Тебя, халду, не спросила, что мне с деньгой делать! — не остаётся в долгу старуха.

Сегодня с утра пораньше она собрала малину. Ольге это дело не доверяет. Знает, что дочь половину съест. Поэтому ползает между кустов, ощупывая их костлявыми пальцами, кряхтит, матерится на белый свет и на «поганку»-дочь, которая «дрыхнет до солнца». Сама она просыпается в сумерках, часа в четыре утра, и начинает шастать по дому, переставляя мелкие предметы вроде вазочек с засохшими астрами и глиняных птиц с места на место. Потом тянется на кухню и гремит посудой, не давая Ольге спать. Дом у них

небольшой: две комнатухи без дверей, а только с занавесками, и кухонька. Поэтому всё слышно.

В воскресный день поспать бы подольше, но где там! С шести часов гремит радио, соревнуясь с кастрюлями, свистит чайник и слышно, как мать швыряет кипяток из блюдца. В перерывах между глотками кричит:

— Вставай, проклятушая! Неча в постелях валяться. Вези малину в парк. Шас как раз курортники на водопой пойдут. А ты им малинки! Подымайся! Меня ноги не держат.

Затем наступает затишье. Радио выключено, хлопнула дверь. «Ушла поливать грядки, — сообщает Ольга. — Чтоб ей!» Она встаёт, направляет постель и подходит к окну. Минуту смотрит, как мать, согнутая вполювину, с выросшим от непосильного труда горбом на спине, ходит по огороду, опираясь на клюку, и думает: «И когда тебя Господь приберёт? Продала бы я дом, купила бы квартирёшку в городе, чтоб пожить по-человечески. Одной-то мало надо. А ещё лучше — в Геленджике какую-нибудь хатёнку с видом на море. Хоть под старость лет подышать солёным воздухом, а не навозом. Все грядки им усыпаны. И когда её черти скрутят?»

Она умылась под рукомойником. Попила ещё горячего чая с бубликом, надела платье в горошек и стала причёсываться перед зеркалом, виsiaщим над диваном. Причёсывалась Ольга всегда с удовольствием, ощущая тяжесть длинных волос, их мягкость и густоту. Единственное, что осталось от молодости. У подруг уже не волосы, а волосёшки. Головы с проплешинами, а у неё — даже не седые! Ольга сделала узел на затылке, прилепила сверху железную заколку и осмотрела своё отражение. Что ж, вполне ничего себе женщина. Да, полновата, и ноги коротковаты, под глазами морщины, зато губы красивые. Сложенные вместе выглядят как лодочка. «Лодочка, лодочка! На столе селёдочка!» — так издевался над ней муж, когда она как-то похвасталась перед ним формой своих губ. Подлец. Все разговоры сводились к водке с селёдкой.

Зашла мать, неся пластмассовое ведёрко, полное малины. От ягоды шёл умопомрачительный запах. Ольга протянула руку, чтобы ухватить горсточку.

— Цыц! Нажрёшься ишшо, пока будешь продавать. Знаю я тебя, дармоедку. Бери ведро, вот

стаканчики, которые на один раз. Как раз успеешь приехать и разложить в их. Там и курортники потянутся. Торгуй по сто рублей стакан. Да приговаривай, мол, свежая и сладкая. Им, дуракам, пока не скажешь, всё будет горько.

Утолкали ведёрко в матерчатую сумку, отдельно в пакет положили стаканчики, и Ольга отправилась в путь. До остановки минут пять. Как только отошла от дома, съела две горсти малины. «Продам по 110 рублей десять стаканов, — рассчитала она, — мать не заметит». День начался ясный и обещался быть жарким, судя по чистоте неба. Пахло свежестью и немного пылью, поднятой только что промчавшимся велосипедистом. До Курортного парка прямой маршрутки не было. Ольга с матерью жили за посёлком Белый Уголь, от которого нужно было добираться одной маршруткой, а на второй — уже напрямик до Театральной площади, откуда в парк на центральную аллею.

К половине восьмого была на месте. Устроилась недалеко от бювета. Расстелила на скамейке бумажную скатерть, сверху поставила стаканчики, куда разложила малину. Часть осталась в ведре. Справа и слева расположились такие же, как она, торговки. Правда, малины у них не было, только абрикосы, черешня и красная смородина с прошлогодними грецкими орехами. Ещё дальше ставили столы женщины в тёмных платках. Их гортанная речь доносилась до Ольги. На столы они выложили пуховые платки, носки и шапки. Всё возвышалось горой. Женщины неторопливо её разбирали, развешивая шали на верёвке, которую растянули между металлическими стойками. Ольга сообразила, что не была в парке года три. Было даже приятно ощущать свою принадлежность к тем, кто зазывал к себе покупателей.

Заспанные, с сердитыми лицами отдыхающие стекались к бювету. Проходя мимо, некоторые останавливались. Разглядывали малину и спрашивали, сколько стоит стаканчик. Услышав ответ, одни осуждающе качали головой, другие молча отходили. В половине девятого народу прибавилось. На удивление, малина распродавалась быстро. Не пришлось приговаривать насчёт сладости. Настроение Ольги сделалось бодрым, на душе посветлело. Она подумала, что теперь будет вместо матери приезжать сюда. А что?

Вокруг люди. Можно поглазеть на приезжих. Помечтать о том, что и сама куда-нибудь поедет и будет вот так же неторопливо в нарядной одежде где-нибудь прогуливаться. Хорошо бы в Геленджике. Говорят, туда съезжаются со всей страны и там красивая набережная, с фонтанами. Вот бы на пароходе...

Ольгины мечты прервал хриплый голос:

— Почём ягода, красавица?

Ольга оглянулась. Сбоку подъехал мужик в обшарпанной инвалидной коляске. Он был без ног. Приблизительно одних с ней лет, трезвого вида, в чёрной выцветшей футболке и штанах, закатанных до паха. Глаза его глядели остро, будто буравили Ольгу. Она поёжилась.

— Сто рублей, — ответила и неуверенно добавила: — Свежая, только что собрали, сладкая.

Мужик осклабился, показав в улыбке щербатые зубы. Смеющийся, он кого-то ей напомнил. И это напоминание лезвием полоснуло сердце. Ольга почувствовала, что у неё спёрло дыхание. Холодок пробежал от шеи в вырез платья.

— Не узнаёшь, что ли? — спросил незнакомец, подмигивая. Пригладил волосы ладонью, откидывая чёлку набок. — А так? Я тебя сразу признал. Что, неужто ноги — самое главное в человеке?

Ольга перевела дыхание. Получше всмотрелась в загорелое, огрубевшее от частого пребывания на улице лицо.

— Серёга? Ты?

И как-то вся обмякла. Сергей заметил её смущение.

— Да ты не пугайся, я не кусаюсь. Я это, я, Серёга.

Они смотрели друг на друга долгими взглядами, словно пытаясь заглянуть в общее прошлое, когда были старшеклассниками. Сергей, тогда высокий, плечистый парень, ухаживал за Ольгой. В десятом классе пытался провожать до дома. Пару раз довёл до калитки. Мать увидела, завизжала, обозвала Ольгу вертихвосткой, а Сергея — кобелём. После того случая Ольга запретила провожать себя и ухаживания принимала со страхом. Повсюду чудился материнский окрик. Сергей предлагал поехать вдвоём в Краснодар поступать в институт, но она увернулась от разговора. Мать уже присмотрела ей место на молокозаводе, где сама в то время работала мойщи-

цей оборудования, и строго-настрого наказала даже не помышлять об учёбе. «Деньги надо зарабатывать сначала, а потом про книжки думать», — сказала она, услышав, как Ольга заикнулась об институте.

Сергей после школы уехал. И больше его Ольга не видела. А сердце ещё долго-долго ныло при воспоминании о первом поцелуе. О том, как Сергей увлёк её, сопротивляющуюся, в коридор во время выпускного вечера и крепко прижался своими губами к её губам. Сказал: «Я напишу тебе. Будешь отвечать?»

Она судорожно кивнула. Хотела сказать, что придет к нему. Накопит денег и придет. На Новый год! Пусть только адрес сообщит. Но вместо этого сползла по стенке, опустилась на корточки и закрыла лицо руками. Сергей сел рядом на пол. Сидели оба и молчали. Из школьного зала неслась музыка, и было непонятно, что их ждёт впереди. Действительно, зимой пришло письмо, но прочитать его не удалось вот почему: как-то, забежав в дом с мороза, Ольга увидела на столе распечатанный конверт. Сердце ёкнуло. Бросилась к заветному посланию, догадавшись, от кого оно. Мать опередила её.

— Кто прислал привет? — грозно спросила она, накрыв конверт мокрой ладонью.

— Не знаю, — пожала плечами Ольга.

— На, гляди.

Мать сунула ей в руки письмо.

Ольга посмотрела на обратный адрес.

— От Сергея, одноклассника... который провозжал меня... Он в Краснодаре.

— Ты глянь, какой настырный! — с ехидцей в голосе завопила мать. — Я так и подумала! Ты что, влюбилась, поди, в него?

Ольга ещё раз пожала плечами. Она не решалась при матери вынуть листок бумаги из конверта. Сердце билось гулко, тревожно.

— Почему «влюбилась»? Просто одноклассник...

— А если не влюбилась, если «просто одноклассник», бросай в печку! Ну! Кому говорю! Ишь, кобелина, в чувствах признаётся! Поматросить и бросить?

Ольга, как загипнотизированная, открыла дверцу печки и бросила конверт в костёр. Потом убежала за занавеску и рыдала на кровати

до самой ночи. А через три года, томимая воспоминаниями о Сергее, выскочила замуж за первого, кто пригласил её на танцах. Парень оказался отъявленным пьянчужой и подлецом. От одноклассников Ольга слышала, что Сергей недоучился в институте, отправился в армию, в Забайкалье. Там и остался. Вроде бы женился.

И вот — эта встреча спустя сорок лет. Целая жизнь позади! Сергей — инвалид. Что произошло?

— Как ты? Семья, дети? Ты в Ессентуках? Где живёшь? — Сергей сыпал вопросами.

— Живу там же, с матерью. Своей семьи нет. И детей нет. Была замужем, но разошлись. Так вышло. А ты?... — несмело спросила Ольга.

Смотреть на бывшего ухажёра было страшно. Ольга никогда не сталкивалась с инвалидами и чувствовала себя огромной горой рядом с чело-веком-обрубком. Ужасно, что этим обрубком был Сергей, о котором она многие годы привыкла думать как о красавце. Не знала, чем успокоить свои ноги, которые так и топтались, так и елозили, словно нарочно выставляясь напоказ. Хотела спросить, что с ним случилось, но Сергей опередил её.

— О себе расскажу в другой раз. А я тут... это... милостыню прошу.

Сказал, будто похвастался великим достижением, недоступным обычным людям. И показал пустую картонную коробочку.

— Что же это такое? — затрепетала Ольга.

Слёзы показались на её глазах. Машинально кому-то протягивала малину, брала деньги, складывала в кошелёк. Сама всё глядела и глядела на Сергея. И он смотрел на неё не отрываясь. Кажется, тоже плакал. Нет, глаза его были сухими, но блестели нездоровым блеском, который выдавал жуткое волнение. Просто пылали сухим огнём! Мелкие морщинки вокруг глаз дрожали и ломались. Ломались брови, и ломался рот... Было ощущение, что искалеченное тело Сергея готово было осесть, как куча песка, на кресле-каталке.

— Погоди, — сказала Ольга. — Вот тебе малина...

Она высыпала оставшуюся ягоду в пакет из-под стаканчиков. Вложила пакет в руки оторопевшего мужчины.

— Вот деньги...

Стала нервно открывать кошелек, чтобы отдать выручку Сергею.

Тот быстро отъехал метра на два в сторону. Крикнул:

— Да ты что, сдурела? Я разве для этого сказал? Если не утомнишься, уеду.

Ольга опомнилась. Поправила платье. Оно прилипло к спине, к плечам. Убрала ведёрко в сумку.

— Почему не отвечала? Я писал. На Новый год ждал, что приедешь.

Сергей вновь приблизился. Управлял коляской умело, легко крутя колёса. Ольга обратила внимание, какие у него мускулистые руки.

— Не помню, — соврала она. — Что было, то прошло. Чего ворошить старое?

И поднялась со скамейки.

— Уходишь? Когда ещё будешь здесь? Я в основном на рынке побираться, сюда редко приезжаю.

— Дня через три-четыре, как малина созреет.

— Буду ждать. Пообещай, что придёшь.

— Обещаю, — прошептала Ольга и скорыми шагами пошла прочь.

Её била дрожь. Не помнила, как доехала до дома, как объясняла матери недостачу в деньгах, как переоделась в халат, помыла руки и вынула заколку из волос. Мать, видя её состояние, спросила:

— Чё дрожишь-то? Заболела? Помидоры собирать надо...

— Сама собирай, змеюка, — ответила Ольга и ушла за занавеску.

Мать, привыкшая к подобным разговорам, потащила на огород. Ольга лежала в своём закутке и впервые с особенной ясностью поняла, что жизнь прожита. Что не будет никакого Чёрного моря, домика в Геленджике, фонтанов на набережной. Что мать будет мучить её ещё лет пятнадцать, а то и больше. Что Ольга состарится и помрёт вперёд неё и не будет знать, на что старуха потратит деньги, которые, копеечка к копейке, собирает долгие годы и относит на сберкнижку. Ольге стало жалко себя, Сергея, их несостоявшейся общей семьи, которая (Ольга сейчас это почувствовала) могла стать счастливой. И наверняка у них было бы и Чёрное море, и, может быть, не Геленджик, а Сочи или Ялта.

А может быть, даже и Турция, куда сейчас летают все кому не лень.

Она решила, что не пойдёт больше в парк. Зачем? Беречь душу себе, Сергею? Зачем знать, какая беда с ним приключилась? Что это даст? Прошлого не вернёшь, как не вернёшь и ноги Сергею. Но через четыре дня сама напросилась ехать в парк. Встала вместе с матерью, чего раньше никогда не бывало. Пошвыркала мятного чаю, на ходу закусила вчерашними блинами и отправилась помогать собирать малину.

— Чё с тобой, девка? Куды торопишься? Ха-халя завела?

Мать в упор смотрела на дочь.

— Завела, — обдала её ледяным взглядом Ольга.

Мать отпрянула, ухватившись за костыль. А Ольга с вызовом заявила:

— Уйду от тебя. Выйду замуж и уйду.

— Чё болташь, проклятая? Кому ты нужна, косолапая?

— Тебе не нужна, другим пригожусь.

Малину собирали молча. Мать поглядывала между кустов на Ольгу и что-то соображала. С подозрением наблюдала, как дочь с особой тщательностью укладывала волосы и рылась в шкафу в поисках платья.

— Чё ли на свидание собираешься? Не с безногим ли?

Ольга так и застыла.

— Откуда знаешь?

— Как жесь, ползает среди курортников, он-то меня не признал. Да и я тоже. Видала-то ведь несколько раз всего. А в парке все друг дружку знают. Мне и сказали, кто это. Я сообразила, что тот, кто письма писал тебе.

— Как «письма»? — изумилась Ольга.

Она примерилась, чтобы вцепиться в мать и выпясти из неё всю правду. Но не стала этого делать. Мать стояла перед ней, словно сухой куст, и не выглядела семижильной, как обычно. Старая женщина съёжилась и отступила, повернувшись боком, словно хотела горбом защититься от опасности.

— По пьяни под поезд попал твой хахаль. С семьёй у него не заладилось, пить стал. Так люди говорят. Пьянчужка он, знай.

— Ведьма! — Ольга плюнула на пол.

Она хоть и ненавидела мать, но руку поднять

на неё не смела. Старуха, поняв, что проговори-
лась, замолчала, опасливо поглядывая на дочь. А
ту пронзила мысль о бесполезности разговора.
Тряси не тряси — какой толк? Письма-то не про-
читаешь! Ноги-то не вернёшь! Ольга влезла в
своё любимое голубое в цветочек платье, куп-
ленное пару лет назад по случаю юбилейного
дня рождения. Они тогда с подружками напи-
лись до умопомрачения и перессорились, пото-
му что не могли решить, какие на нём изображе-
ны цветы — васильки или незабудки. На самом
деле там были ромашки.

Взяла ведро с малиной и отправилась в дорогу.
Сердце колотилось в горле, когда она шла к бю-
вету. И не зря. Ещё издали увидела инвалид-
ную коляску и Сергея в ней. Остановилась, что-
бы передохнуть, и на ватных ногах приблизилась
к скамейке. Сергей был принаряжен: чёрные
брюки под ремнём и клетчатая рубашка без рука-
вов. Увидев Ольгу, повернулся и покатился в сто-
рону продавца цветов. Через три минуты вернул-
ся с огромным букетом ромашек на коленях.

— Возьми, — сказал неловко. — Как с твоего
платья насобирал.

— Мне никто в жизни не дарил букетов... —
слезливо призналась Ольга. — Никто.

— Ну вот, я буду дарить, пока лето не кончится.

Так оно и случилось. На протяжении августа
всякий раз, как Ольга приезжала с малиной в
парк, Сергей встречал её цветами и сидел, наб-
людая за ней, пока она торговала ягодой. Рядом
стояла его коробочка, куда люди изредка броса-
ли мелочь. Ольга привыкла к этим встречам.
Ждала их с мучительным, болезненным
чувством вины. Теперь она знала всё про Сергея.
Знала, что он действительно недоучился в инсти-
туте, ушёл в армию. Прослужив два года, женил-
ся на местной и остался в Забайкалье. Родился
сын, но жизнь не сложилась, слишком разные
они оказались с женой. Ему бы работать, тянуть
всё в семью, а супруга любила гулянки. Приучил-
ся пить, и пошло-поехало: вечеринки, свадьбы,
поминки. Где была выпивка, там был и Сергей. В
один момент захотел всё бросить и уехать. На-
пился и помчался на вокзал за билетом. Бегал
там по путям, ну и добегался. Как жив остался,
удивительно. Долго потом поправлялся. Когда
свыкся со своей участью, вернулся сюда, в Ес-
сентуки, где жили родители. Теперь их уже нет.

— Ты думаешь, я из-за денег побираюсь?
Не-ет, пенсии мне хватает. Мало, конечно, но
хватает. Не хватает общения, разговора. Вот за
этим и езжу то на рынок, то в парк. Потолкусь
среди людей, погляжу на них, послушаю о чужих
проблемах, потреплю языком с продавцами и
доволен. Увижу, что жизнь не только у меня, у
всех не малина. Не то что легче становится, а
как-то терпимее.

Ольга слушала его рассказы о Забайкалье, о
незнакомом далёком крае, где нет гор и реки не
такие быстрые, о том, как он хотел утопиться и
кинулся с моста, но его вытащили проходившие
по берегу парни. Слушала и старалась понять,
что же такое есть жизнь? Почему всё так странно
и страшно? Почему дома — баба-яга, а здесь —
безногий ухажёр? Почему жизнь прошла, а ра-
дости в ней было с гулькин нос и того меньше?
Пыталась вспомнить что-нибудь приятное, но
на ум ничего не приходило, кроме того поцелуя
в школьном коридоре. Ни-че-го.

А любовь? Какая же она, однако, странная. То
с чувством ужаса, что тебя отругает собственная
мать-мегера, то с ощущением безысходности от
жизни с бывшим мужем. Да и сейчас. Неужто то,
что она испытывает к Сергею, можно назвать
любовью? Да, ей невыразимо, отчаянно жалко
его. Жалко до головной боли, до бессонных но-
чей и тисков в сердце. Но ведь любовь — это ког-
да одна постель. А как с ним, с обрубок, ло-
житься? Подобные мысли терзали Ольгу с утра и
до вечера. Она отгоняла их, успокаиваясь тем,
что любви, вообще-то, не существует. Люди жи-
вут друг с другом по необходимости, по привыч-
ке, от страха перед одиночеством, перед бо-
лезнью, из-за денег, из-за квартиры, из-за ма-
шины, из-за чего угодно, но только не по любви.
Все подруги так живут. Поэтому нет ничего за-
зорного в том, что Ольга думает иногда не о люб-
ви, а о Сергеевой двухкомнатной квартире в
центре города, о которой он не раз говорил с яв-
ным намёком на что-то более серьёзное, чем
встречи в парке.

Матери не рассказывала про свидания, посы-
лая её куда подальше, когда та выспрашивала, не
видалась ли она с «безногим пьянчужкой»? Цве-
ты домой не приносила. Ехала в маршрутке,
прижимая букет к груди, уткнувшись в него ли-
цом, стараясь запомнить запахи, и, нанюхав-

шись, выбрасывала в мусорный контейнер на остановке.

Однажды Сергей спросил, перед этим измусолив не одну сигарету:

— Выходи за меня, а? Выйдешь? Ты не думай, того... Я мужиком-то остался. За мной не надо ухаживать, всё делаю сам. Выходи? Квартира опять же... в центре. Пропишешься. Если я — того... тебе достанется. Поживём?

Кавалер смотрел на неё, как раненый пёс смотрит на хозяина, — тоскливо, с ожиданием и надеждой. А в глазах была такая мука, такой космический страх, что сердце Ольги чуть не разорвалось от жалости. Хотела крикнуть: «Да, да, выйду!» Но вместо этого печально произнесла:

— В наши годы? Людей смешить?

— Кто хочет, пусть смеётся. Нам какое дело? Пойдём, покажу тебе, как я живу.

Ольга согласилась. «Гори оно всё синим пламенем! — подумала. — Выйду!»

Продав остатки малины, сунула ведёрко в сумку и пошла рядом с коляской, которую Сергей катил вполсилы, чтобы Ольга не бежала. Вышли из парка и двинулись в сторону улицы Володарского. Сергей заметно волновался. То и дело шмыгал сухим носом и громко кашлял, прочищая горло.

— Чаем тебя напою...

«Мне бы стопарик сейчас для храбрости, а не чаю», — незаметно усмехнулась Ольга и представила, как будет ходить на базар (он тут недалеко), толкая инвалидную коляску впереди себя. Как будут вдвоём выбирать овощи, возвращаться домой, разговаривая по пути о ценах, как будет помогать Сергею мыться в ванной. На этом месте её передёрнуло от страха и отвращения. Но мечта о своей квартире помогла справиться с возникшей неприязнью. Ольга сказала себе, что всё стерпит ради того, чтобы пожить в человеческих условиях. Глядишь, и до Геленджика доберутся. А что, какая разница, где на инвалидной коляске ездить? По набережной, наверное, легче и веселее.

Три квартала частного сектора остались позади. Перед ними был девятиэтажный блочный дом в один подъезд, советской постройки. Сергей открыл с помощью магнитной кнопки дверь, скоро въехал по пандусу на площадку и вызвал лифт. И он, и Ольга не-

ловко молчали. Он — от неуверенности, она — от сжигавшего её любопытства. Хотелось быстрее взглянуть на будущее жильё. Квартира оказалась хорошенькой: в меру чистой, удобной. Две изолированные комнаты, кухня просторная, ванная с туалетом. Правда, мебель старовата, диван продавлен и обшарпан, со стульев слез лак, шторы кое-где провисли, а холодильник гудит как паровоз. Ну да это мелочи по сравнению с застиранными занавесками и деревянным, с дырками в стенках туалетом.

Сергей вскипятил чайник, заварил чай. Поставил две кружки на кухонный стол, сахарницу и коробку конфет. Двигался он в привычном пространстве умело и спокойно, поворачивая коляску то к плите, то к подоконнику, где в банке стоял питьевой гриб, то к раковине, чтобы ополоснуть ложечки.

— Хорошо у тебя, — сказала Ольга, отхлёбывая чай. — Как же ты управляешься?

— Привык. Где ползком, где на коляске. Ещё у меня коробка есть вроде скейтборда. Так что я богатый, два движущихся средства имею. Могу и тебя прокатить!

Сергей захохотал. Накрыв рукой лежащую на столе руку Ольги. В глазах его читался вопрос.

— Напилась, спасибо. — Ольга отняла свою руку.

Встала и перешла в комнату.

— Давай телевизор смотреть.

Телевизор был старый, тоже советский, цветной, с плохим звуком. Сергей с коляски перекатился на диван и ненароком (а может, специально) шаркнул обрубками ног по коленям Ольги. Та сжалась, отодвинулась в угол дивана и замерла, теребя пальцы. Сергей снова захохотал. На этот раз хохот звучал угрожающе, как будто хозяин чистенькой квартирки нарочно хотел напугать гостью. Он добился своего. Ольга глубоко задышала, что бывало в минуты крайнего волнения, и уже пожалела, что согласилась прийти сюда. Станным образом Сергей выглядел вроде как и не Сергей вовсе, а какой-то совершенно незнакомый человек, в котором не было ничего от школьного товарища.

— Да ты не бойся, — тихо сказал он вдруг и закурил.

Запах дыма отрезвил Ольгу. Она расслабилась. Перевела разговор на погоду.

— Дождь обещали, а мне картошку подкопать надо...

Не вняв её заботам, Сергей спросил в перерывах между глубокими затяжками:

— Ты помнишь, как мы целовались? На выпускном?

— Как не помнить...

— Продолжим? Что мы про погоду да про картошку? Небось, не маленькие. Понимаем, что к чему. Что рассоливать-то? Что скажешь?

— Торопишься куда-то...

— Как не торопиться, когда истосковался по любви?

Услышав про любовь, Ольга перестала бояться. Если речь идёт о любви, значит, всё в порядке, значит, тут дело во взаимных интересах: он ей — квартиру, она ему — заботу о нём и общую постель. Вот и вся любовь. Поэтому не стала сопротивляться, когда Сергей, как тогда, в школьном коридоре, увлёк за собой. Только не в полутёмный коридор, где был подарен первый поцелуй, а на диван, где предполагалось стыдное. И стал жадными руками щупать её и задирать платье. Ольга было поддалась, но, почувствовав своими бёдрами пустоту вместо бёдер Сергея, вырвалась и закричала:

— погоди! Куда торопишься?

— А ты за месяц не привыкла, что я без ног? Думала, в постели не заметишь их отсутствия? У-у-у, стервы, все вы одинаковые.

Сергей сел, застёгивая брюки, а Ольга пулей выскочила из квартиры, успев схватить сумку с ведёрком. Бежала по улице и ревела белугой. Плакала о своей пропащей жизни, о несбывшихся мечтах, о квартире в центре города, хозяйкой которой она никогда (теперь это уже было ясно) не станет. Не станет, потому что не сможет побороть страх и отвращение. Переоценила она себя! Купила бутылку воды по пути, попила, плеснула на лицо. Дождалась, пока сердце перестало kloкотать в горле, и потопала на остановку. Приехала домой и с порога шмякнула ведром об пол:

— Хватит. Не поеду больше.

— Дык, — усмехнулась беззубым ртом мать, — не надо ездить. Всю малину продали. Отошла. Теперича огурцы собирать надо.

Ольга ушла к себе. Возвращалась обычная жизнь, в которой не было места мечтам о квартире. Ну что ж, прощай, Геленджик, прощай, незнакомая набережная! Пусть жизнь катится, как прежде. Всё — к лешему. Гори оно синим пламенем! А может, так-то и к лучшему. С инвалидом хлопот не оберёшься. Хуже, чем с бабой-ягой.

Ближе к зиме (надо ж было встретить её на рынке!) нос к носу столкнулась с одной из торговок, знакомой по парку. Ольга ещё не успела закупиться и только приглядывалась к ценам, поэтому не смотрела по сторонам.

— Ольга! — окликнула её женщина и, увидев, что та хочет прошмыгнуть мимо, с ходу выдала: — Ухажёр твой коньки кинул!

— Какой такой «ухажёр»? — вздрогнула Ольга, исподлобья глядя на старую знакомую.

— Ну как же? Безногий. Который цветами тебя забрасывал! Приказал долго жить. Осенью сгорел по пьянке. Люди болтают, что ты ушла от него, он и запил. По-чёрному. Коляску потерял. Последнее время ползал тут, просил милостыньку и плакал. Сама видела. Спрашивала, что приключилось, да он в ответ убежал. Шустро так, руками перебирает, тело подтягивает, не утонишься... Бедняга...

— А с квартирой что? Кому досталась? — не удержалась от вопроса Ольга.

Она чувствовала, как теснило грудь и вспотели ладони. Чтобы не подать вида, что её задело известие, принялась поправлять платок и получше запахиваться. Но всё равно торговка догадалась.

— Глянь, как ты, сердечная, вспугнулась-то. Сын! Сын евойный приехал из Забайкалья. Продал квартиру, деньги — в карман и — обратно. Да ты в церковь сходи...

Ольга уже бежала прочь, и только одна мысль билась в её разгорячённой голове: «Какая я дура! Круглая! Как всё быстро случилось! Потерпела бы до осени, и сейчас бы квартира была моя! Идиотка! Всего-то до осени!»

Но другая мысль обожгла своей очевидностью. Ольга даже остановилась, мешая прохожим двигаться по тротуару, и произвольно развела руки. «Нет, что это я горожу? Какая осень? Да он бы долго жил. Как пить дать! Это без меня в запой ушёл, а со мной бы жил. Я бы ведь обихаживала его, кормила, поила, купала,

вытирала бы его культи. Привыкла бы и к постели, чай, не девочка. Что ж, получается, из-за меня помер? Из-за любви ко мне? Идиотка!» Отчаяние охватило её. А больше отчаяния душило мрачное чувство, что она вконец запуталась.

Если бы не боль в груди, которая была больше всего на свете, Ольга бы не сомневалась насчёт любви, про которую думала, что её не существует и в помине! Но сейчас было так плохо, так тяжело и горько, что впервые закралась догадка о любви бескорыстной. Любви не ради денег или квартиры, а любви просто так. Ни за что. Вернее, только за то, что человек существует, за то, что можно прижаться к нему, как пытался прижаться к ней Сергей на диване. За то, что можно поцеловать и посидеть, в растерянности перед будущим, рядышком, как они сидели на полу школьного коридора когда-то.

Ольга вдруг с болезненной отчётливостью поняла: не стало человека, который любил её просто так. Не ради и не потому, что ждал помощи, как от медицинской сестры. Жил без этого до неё и ничего, справлялся. Любил просто так. За то, что было кому дарить цветы. А она — квартира, квартира! Испугалась культей! Да ведь не культеями любят. «Чем же? — задумалась Ольга. — Каким органом? Душой...» Это слово — первое, что пришло на ум и помогло опереться на что-то крепкое, основательное в сложных размышлениях. Она впервые в жизни почувствовала её, свою душу. Прямо-таки физически ощутила, как нечто тонкое сидит в ней и тоненько плачет, в то время как Ольга не может выдавить из себя ни слезинки.

Да, церковь... Что там говорила про неё торговка? Ольга вспомнила, что недалеко от Курортного парка есть церковь. Как называется, не знала. Видела купола не раз, слышала звон колокольный, а бывать не бывала. Не тянуло. А сейчас случилось чудное, странное. Будто кто схватил за шиворот и потащил. Потянуло к тем куполам! Да так сильно, что Ольга не раздумывая побежала вверх по улице по направлению к парку, торопясь, будто зная, что там, в церкви, её кто-то ждёт. Ждёт, точно зная, что дождётся.

ТВОРЧЕСКАЯ СТРУНА

рассказ

I

С утра Мигунова повело не в ту сторону.

Обычно после завтрака он садится за компьютер и бродит по Интернету в поисках интересных историй. Или, если приводят внуков, возится с ними: строит из кубиков башню, читает книжку, рисует. Но сегодня мальчиков не привели, а к компьютеру почему-то не тянет. И вообще, настроение такое, что хочется завывать, сжав зубы. И завыл бы, не будь рядом жены. Она включила телевизор и жадно уставилась на экран, где очередное шоу рассказывало о чьих-то пьянках, драках и бедных детях, живущих впроголодь. Мельком взглянув на приглашенные рожи, Мигунов почувствовал тошноту. С чего бы это? Вроде вчера не пил, ничем не травился. Однако тошнит. Тошнит от одного вида картин чужой жизни. Нищенской, омерзительной в своей безысходной откровенности. Наверное, хотят вызвать у зрителей жалость, сострадание? Но получается мерзостная гадость.

Впрочем, тошнит и от вида вполне благополучной, уравновешенно-смешливой, ужасно расплывшейся в талии супруги. Эта женщина — сама доброта! Всем поможет, обогреет, накормит и успокоит. Но вот же... Не смотрел бы. Тошнит от вида уютной комнаты с крепкой, но уже старой, вышедшей из моды мебелью; от вида ленивой толстой кошки, нагло разлёгшейся на подоконнике среди цветов; от вида облезлого крикливого попугайчика в клетке, понурившегося, но упрямо повторяющего: «Ерунда на постном масле!» Мутит от вида серого дня за окном и череды однообразных пятиэтажных домов, построенных бог весть когда. Город погрузился в дождливую дымку, свойственную началу весны, а Мигунов — в непривычное для него настроение.

При взгляде на всю эту картину его озарила мысль, от которой тошнота сделалась невыносимой, хоть в туалет беги. Он подумал, что сегодняшнее воскресенье ничем не отличается от субботы, пятницы, четверга и остальных дней

недели. Всё тот же, до отвращения надоевший телевизор как центр бытия и до оскомины опостылевший толстый синий ковёр на полу, который мозолит глаза с момента, как Мигунов привёз его из очередного морского похода лет сорок назад. Кажется, из Италии. А может, из Гонконга. Теперь не вспомнить. В голове все порты, похожие друг на друга, перемешались. В советское время не сильно-то разрешалось разгуливать по городам, куда приставал пароход. Поэтому довольствовались пристанями. Но куда это годится! Сорок лет ступать по одной и той же тряпке, к несчастью, оказавшейся отменного качества: краски не потускнели и ворс не вытерся.

Мигунов, когда его всего сжало при взгляде на компьютер и на любимую кофейную кружку, всегда стоявшую рядом с мышкой, понял, что дело тут не в алкоголе или пищевом отравлении. Подобное не имело места последние полгода. Дело в другом. В том, что он вдруг отчётливо, так ясно, до сердечной боли и спазма в горле ощутил свой возраст. Его пронзила мысль, что всё самое лучшее давно закончилось. Морские просторы, новые города и континенты затерялись в прошлом и не имеют значения для теперешней жизни. Главный повар круизного лайнера! Когда такое было? Задор, весёлость, дерзкое желание всё успеть! О, молодость, молодость... От неё, по большому счёту, остался лишь этот ковёр да смутное чувство, что не успел, пропустил что-то важное. Может быть, главное?

Молодость ушла. Превратилась в размытые образы, живущие в сознании и имеющие ценность только для тебя одного. Притаилась в осколках чувств да в желании философствовать. Иногда взглянешь на студенческую фотографию — и так и обдаст тебя прохладой летнего парка или на языке вдруг проклюнется вкус «Жигулёвского» пива. Тотчас захочется пуститься в разглагольствования о текучести жизни, об её несправедливости. Да и где же тут справедливость: кажется, только вот-вот отслужил армию, получил диплом технолога пищевого производства, уехал из Ессентуков в Одессу, вышел в море, вернулся назад в родной город, командовал всеми ночными клубами Кавказских Минеральных Вод. Думалось, кругово-

рот интересных событий никогда не закончится. И вдруг — на тебе — пенсионер! Можно сказать, вынужденный. После перестройки клубы, рестораны, столовые и кафе постепенно закрылись. Работать стало негде. Чтобы выжить, так сова. Но не это страшно. Страшно, что горизонт с годами сузился. Всё ограничилось Ессентуками, улицей Фрунзе, родительской квартирой — правда, уже без отца и без матери.

Горизонт горизонтом, но ощущения от жизни и сейчас не притупились. Порой даже кажется, что стали острее. Так и режут по живому. Давят на чакры, сбивают дыхание. Ну когда бы в молодости обратил внимание на золотую осень, расфуфыренную, будто иная девушка в национальном наряде? А сейчас поднимешь бордовый листок с земли, лоснящийся, словно его покрыли лаком; повертишь в руках, поражаясь краскам природы, и что-то так и защемит в груди, так и заноеет. Или ветер, к примеру. Раньше внимания на него не обращал, если, конечно, дело происходило не на корабле и за бортом не билась волна в пять баллов. Всё тогда было нипочём, главное — идти, плыть, бежать. Что же нынче? Прислушиваешься к малейшему движению воздуха — и даже в ласковом летнем ветерке улавливаешь нечто печальное, тоскующее, зовущее тебя то ли в начало, то ли в конец твоей жизни.

Впервые грядущая старость испугала Мигунова, хотя по нынешним понятиям шестьдесят лет — разве это возраст? Силы ещё есть, голова работает. Пенсии, которую недавно оформил, конечно, маловато на роскошную жизнь, но хватает, чтобы зубы на полку не класть. Да и что такое роскошь? Всё относительно. В молодые годы Мигунов гонялся за богатством. Кое-что скопил, приобрёл квартиру, машину. Ну и что с того? Квартиру подарил сыну, с машиной сплошная морока. А молодость не вернёшь, она густо припорошена временем. Правда, Бог здоровьем не обидел. Есть, разумеется, медицинские проблемы, но пока с ними справляется.

Жить бы да жить да наслаждаться, глядя на мир. Мигунов до сегодняшнего утра так и поступал — радовался, помня, что жизнь коротка и что многие его одногодки уже отрадовались, покинув сей мир. Откуда же такая отчаянная

тоска? Такое гнетущее, болезненное чувство в груди? Будто кто-то рвёт его на части. Царапает когтями внутри и выкручивает душу, как жена выкручивает половую тряпку. Почему вдруг такая ненависть ко всему и великое омерзение? Не иначе как тяжесть возраста придавила? Точно, годы дают о себе знать. Годы, которые проредили, выбелили шевелюру волос и сделали некогда гладкое, широкоскулое лицо Мигунова похожим на печёное сморщенное яблоко. Всё оно было изборождено глубокими складками: высокий лоб, опавшие щёки, сдувшийся подбородок. Один нос сделался больше и опустился над провисшей верхней губой, из-под которой, если Мигунов улыбался, выглядывали жёлтые прокуренные зубы.

Чтобы унять тоску, Мигунов машинально побоксировал воздух и потянулся к альбому с карандашами, лежавшими на тумбочке. Сел в кресло и стал, не задумываясь, рисовать, устроив альбом у себя на коленях. Никогда раньше он этого не делал, не рисовал. Почему-то не делал. Вернее, рисовал с внуками, подстраиваясь под детскую наивную манеру. Примитивные деревья, домики, машинки и люди — всё было по принципу «точка, точка, два крючочка, ручки, ножки, огуречик — вот и вышел человечек». Сейчас его рука двигалась размашисто, смело, уверенно, будто кто-то ею водил. Сопротивляться не хотелось. Карандаши сменяли друг друга, мелькая над белым альбомным листом. Мигунов словно выплёскивал на бумагу настроение сегодняшнего незадавшегося утра. Он продолжал злиться на себя, на жену, на квартиру, на кошку и попугайчика. Но главное — хотел заглушить страх, вызванный приближением старости.

Мигунов вспотел и скоро забыл, где находится. Казалось, он весь сосредоточился на карандаше и перетёк с его кончика в рождающуюся картинку. Поэтому, когда, закончив рисунок, отклонился, некоторое время взирал на него непонимающим взглядом. И вздрогнул, услышав жену:

— Коля, Коля! Что с тобой? Зову тебя, зову, а ты ноль эмоций. Посмотри... Ой, это кто нарисовал?

— Что... нарисовал?

Мигунов глубоко вздохнул, освобождаясь от недавнего напряжения.

— Николай, не придируйся. Это же ты нарисовал?

Мигунов взял альбом и упёрся взглядом в то, над чем только что трудились его руки. На листе плескалось море, грозя перелиться за край листа. Море волновалось и то поднимало, то опускало свою мощную грудь, по которой среди волн пробирался баркас. Баркас и море, больше ничего. Вдали немного тёмных гор, занимающих часть горизонта. Всё освещено невидимым солнцем. И было непонятно, закат ли нарисован или рассвет. Наверное, закат, судя по ядовито-огненным пятнам на поверхности воды. Только закат может дать такой глубокий цвет, пресыщенный дневными оттенками, несущий в себе тягучую усталость и страстное желание покоя. Рисунок был прекрасен. Во всяком случае, таким его увидел Мигунов, потому что почувствовал тяжёлое дыхание огромного моря и дерзкую настырность маленького баркаса. Те, кто им управлял, были смелые люди. Не побоялись удалиться от берега и теперь пытаются к нему вернуться.

— Почему ты не говорил, что умеешь рисовать, Коля? — спросила жена.

Она оторвалась от телевизора и разглядывала рисунок. Взяв альбом, вертела его и так и эдак, словно не верила, что он настоящий, тот, в котором рисовали её внуки, два пятилетних мальчика-близнеца.

— Я не знал, что умею, — ошарашенно ответил Мигунов. — В школе по рисованию у меня была четвёртка, по черчению в десятом тройка. Я даже в стенгазетах не участвовал! Откуда вдруг? Что это?

У него слегка дрожали руки. Достал сигарету и закурил. Чувствуя патетику момента, супруга не стала ругаться и выгонять на кухню, к форточке. Она ободряюще следила за мужем, который, казалось, выплыл из мрака и теперь с удивлением оглядывался и только что не ощущал себя, проверяя на реалистичность. Дрожь унялась, наступило странное умиротворение. Словно Мигунова вытрясли, освободив от пыли, и вывернули наизнанку, чтобы он просушился. Стало невероятно легко и немного весело. Так бывает, когда предвкушаешь что-то очень приятное, интригующее.

Докурив, Мигунов снова потянулся к альбо-

му и карандашам. Он рисовал не отрываясь, часа три. Закончились свободные листы. Жена подсунула новый альбом. Мигунов этого не заметил. Он лишь успевал переворачивать бумагу, заполняя её набросками великолепных кораблей, готически возвышенных домов, каменных колоколен, деревянных покосившихся избышек; лицами юных и старых женщин и мужчин, печальных и радостных. Полноценные рисунки, на которых сквозь дождь и снег проступали глаза и улыбки людей, сменялись этюдами. Фрагменты крыш соседствовали с облаками, а рядом с деревенской мельницей бродили гуси. Карандаши часто ломались. Он тоже не замечал. Жена их точила и подкладывала на тумбочку.

Закончив набросок одесского дворика, где росла вишня и тянулась железная витая лестница по внешней стороне выцветшего дома, Мигунов остановился, сражённый усталостью. Он не захотел пересматривать рисунки. Закрыв альбом и положил на тумбочку. Сверху вниз, почти бросил. Мол, вот вам! В резком жесте были уверенность, и радость, и осознание незыблемости приобретённого навыка. Мигунов уже не удивлялся, откуда и почему к нему пришло умение рисовать. Довольно того, что он видел альбом и помнил каждую чёрточку в нём, каждую линию.

Жуткое опустошение овладело Мигуновым. Было тихо. Телевизор молчал. Жена копошилась на кухне, готовя обед. Изредка доносилось позвякивание посуды. Мигунов встал, потянулся. Окинул комнату медленным взглядом, словно узнавая её. Погладил кошку, переместившуюся на диван; щёлкнул по клетке попугая, на что тот завопил: «Позор! Позор!» Неторопливо прошёлся по ковру, невольно отмечая его мягкость, и очутился у окна. Посмотрел на город, уже свободный от дождевой дымки, а потому выглядевший умыто и бодро, вернулся к дивану и рухнул на него, мгновенно уснув.

II

В последующие дни Мигунов лихорадочно рылся в Интернете, осваивая уроки по живописи. Они помогли ему понять несовершенство первых рисунков. Но это не испугало его.

Напротив, придало радостного азарта и оживило любопытство, свойственное ему в юности, но приглушённое годами. Всё узнать, увидеть, успеть! Догнать! Настроение молодости вернулось. Он купался в нём, как, бывало, купался в синих водах Тихого океана, ощущая свои молодецкие силы и магическую силу воды. Мигунов с ходу ловил советы виртуальных учителей, как будто всю жизнь занимался искусством. Чётко понимал теорию, а что не понимал, улавливал интуицией или брал настойчивой практикой. Многие на уроках казалось ему знакомым. Будто он уже слышал это и даже применял на деле, но потом зачем-то отвлёкся на море и ночные клубы. Композиция, колористика, жест, эмоции мазка, накал страсти в столкновении линий, мощь пятна, нежность полутени — всё было близким, будто бы забытым, но легко и быстро возвращающимся к жизни.

Стоило Мигунову взять в руки кисти, как настроение его улучшалось. Куда-то отодвигался дом, жена, внуки. Забывалось прошлое. Не думалось о будущем. Переставало существовать настоящее, в котором, как в борще овощи, были смешаны болезни, безденежье и суета. Никчёмность жизни отступала. Кисти, краски и холст меняли не только настроение Мигунова, они меняли мир вокруг него. Всё, что он видел рядом с собой, теперь имело иной оттенок и даже суть. Привычные предметы могли вызвать самую неожиданную ассоциацию. Почерневший, влажный после дождя поваленный дуб, который уже не хотел выпускать листья, напомнил ему Гаити, бухту залива Гонаив, куда их лайнер зашёл на день, а пробыл три из-за непогоды.

Мигунов вспомнил шторм и обломок дерева, заброшенный, как спичка, на палубу волной. Перед выходом в море его столкнули в воду. Эту сцену наблюдала молодая гаитянка с берега. Она была в сарафане и в сандалиях. Волосы её трепал ветер. Девушка приставила козырьком ладонь ко лбу, защищаясь от солнца, и пыталась что-то разглядеть на пароходе. Гибкое тело её, поддаваясь внутреннему настроению, извивалось и тянулось вверх и вперёд и выражало отчаяние.

— К нам, my girlfriend, к нам! — закричали ей моряки.

Мигунов знал, кого ищет красавица. Он встал на кромку палубы и помахал обеими руками. Девушка, увидев его, подпрыгнула раз, другой, третий, а потом села на валявшийся неподалёку ящик и заплакала, чем насмешила моряков и удивила Мигунова. «Чудная, — подумал он. — Или маньячка». В первый день стоянки, когда не было шторма и туристы отправились в Порт-о-Пренс, он бродил по местной барахолке, ища дешёвую спортивную обувь. И нашёл в бутике, где хозяйничала Юлали. Так звали девушку. Разговорились на плохом английском. Гаитянка, пока Мигунов делал примерку, не спускала с него сверкающих неестественной яркостью чёрных глаз. Буквально ела глазами, будто хотела сжечь. Мигунов выбрал обувь, рассчитался и собрался уходить, но продавщица не отпускала его. Она упала на колени, не обращая внимания на других покупателей, обхватила ноги Мигунова и заплакала.

— Беби, беби, — бормотала она. — Делать бэ-би, белый лицо. Ты Ален Делон.

Мигунов сообразил, чего хочет девица, и поразился несоответствию её изысканной красоты с низостью дела, которым она попутно занималась, продавая обувь. До этого он видел некрасивых, незатейливо-грубых проституток. Вид Юлали, ладненькой, крепкой, аккуратной, без краски на лице, обескуражил его. На секунду он даже поверил ей. Поверил, что она хочет иметь светлогожего ребёнка. И принялся объяснять, что это невозможно, что так детей нельзя делать — походя. В бутике откуда ни возьмись очутились три громадных толстогубых парня, которые начали теснить Мигунова к малюсеньким дверям в глубине помещения. Собразив, что к чему, он по возможности мягко разжал руки девушки и выскочил из магазина...

Он вспомнил Юлали, её прекрасные плечи, страстные глаза и не по-девичьи сильные руки. Вспомнил, как она плакала, сидя на ящике, и захотел её нарисовать. Картина получилась живой: замусоренная пристань, белоснежный корабль, хрупкая фигура плачущей чернокожей девушки и корявое дерево, качающееся на голубых волнах между берегом и кораблём. Мигунов смотрел на полотно и, кажется, чувствовал влажновато-солёный запах гаитянского дня. Так, прислушиваясь к собствен-

ным ощущениям, стараясь не выходить из расслабленного состояния, Мигунов и работал. Что сознание подсказывало, то и рисовал, не задумываясь над сюжетом картины.

Всё выходило само собой, без напряжения. Городские пейзажи, никогда им не виденные, рождались из его представлений о счастливых городах. Его разношёрстные герои приходили к нему из ниоткуда и оставались жить на холсте. Возможно, это были отголоски прошлого, чего-то мимолётного, мечтательного. Но Мигунову верилось в другое. Основу внезапной, новой для него деятельности составляла струна, звучание которой он слышал в своей душе. Слышал отчётливо, как если бы рядом играли на однострунной арфе. Как и откуда она появилась, Мигунов не знал, но принимал её колебания, которые освежали память, озаряли душу и вливали в тело энергию. В такие минуты он устремлялся в угол комнаты, где устроил мастерскую, и хватался за кисти. «Творческая струна запела!» — радовался Мигунов, забыв о страхе перед близкой старостью.

Он попробовал работать фломастерами, акварелью, маслом и акрилом. С акварелью не справился. Не хватало в ней цвета, дерзости, энергии. Фломастеры оставил детям. Масляные краски тоже отклонил: слишком резко они пахли. Для них была нужна отдельная мастерская, а не угол в трёхкомнатной квартире, куда постоянно приходили дети. Поэтому остановился на акриле: ни запаха, ни какой-либо сложности с их разведением водой. Сохнут быстро, держатся долго, запросто можно положить поверх одного рисунка другой. А уж цвет — фантастика, мечта! Картон и бумага тоже были отмечены как слишком прозаические вещи. Только грунтованный холст!

III

К середине лета скопилось много картин. Сначала они стояли на свободных поверхностях, а потом были свалены в кучу и превратились в источник недовольства жены. Она взяла в привычку тихо ворчать всякий раз, как проходила мимо художественного «хлама, съедающего пенсию». Кошка порвала несколько холстов и норовила точить когти о

рамки. Попугай яростно кричал: «Базар! Восторг!» Но Мигунов продолжал работать. Однако игнорировать подковырки супруги не получалось. Язвительный шёпот перебивал звучание творческой струны, и та стала давать сбои. Когда струна молчала, Мигунов начинал подумывать насчёт продажи картин. Занятие живописью оказалось дорогим удовольствием. Пенсии не хватало, таксовать было некогда. Всё чаще он рассуждал: «Чем я хуже других самоучек, выставяющихся в Курортном парке на центральной аллее перед бюветом, где особенно много отдыхающих? Говорят, раньше, в советское время, уличные художники могли за сезон заработать на машину». Соблазн иметь дополнительный доход не давал покоя. Впрочем, не до жиру: не на машину, так на колёса и новую обивку для салона заработает.

И однажды решился. Выбрав пятнадцать отменного качества работ, отправился в парк. Разложил всё недалеко от источника и стал нервно прохаживаться рядом, не выпуская сигарету изо рта. Слева и справа расположились местные художники. Все они имели скучающие физиономии, но оживились при появлении Мигунова.

— Давно малюешь? — спросил тот, чья галерея была представлена видами двуглавого Эльбруса и других известных на Кавказе гор.

— Пять месяцев, — ответил Мигунов.

— Шутишь? — не поверила пышнотелая средних лет художница. Её картины пестрели мордами разномастных кошек со стеклянными глазами.

— Где учился? — поинтересовался третий, видимо любитель натюрмортов, ибо стоял в окружении помидоров, яблок, груш, винограда и прочей фруктово-овощной снеди.

— В Интернете! — признался Мигунов.

Он уловил ревностную настороженность, исходившую от коллег по цеху. Оценив обстановку, понял, отчего такая реакция. Его работы были, конечно, сильнее неживых пейзажей, статичных кошек и шаблонных натюрмортов. Всё, что он видел, являлось мазнёй, ширпотребом. Ну и картинки... Без капли души! Без динамики и настроения. Убогость. Свои полотна он не мог так назвать. Не потому, что сам их создал, а потому что видел раз-

ницу в технике исполнения. Да что там «разницу»? Пропасть. Природное чутьё давало ему трезво взглянуть на чужое и личное. Может быть, ему далеко до профессиональных мастеров, но творческая струна пела-подсказывала: у него получилось. Да и любопытство людей, окруживших выставку Мигунова, говорило о многом.

В этот день купили четыре картины. Из тех, которые он определил для себя как средненькие. Каждая ушла по четыре тысячи рублей. Мигунов обомлел. Он старался не смотреть на соседей, хмуро поглядывавших в его сторону. А дома первым делом убрал картины подальше от кошки. Довольная, примолкшая жена выделила для них несколько полок, предварительно убрав книги. Мигунов блаженствовал. Глянул в зеркало и лихо подмигнул своему отражению: «Видал? Шестнадцать тысяч заработал! Почти моя пенсия!» Несмотря на поздний час, взялся за работу и написал небольшую картину: одинокая беседка на пригорке, окутанная зеленью клёнов. У подножия — лунообразный цветник. В картине не было ничего необычного, но чередование мелких и крупных мазков, экспрессия дневных теней и переход одного тона в другой создавало волнующее впечатление: пейзаж дышал. Мигунов остался доволен, получив подтверждение своего мастерства. Под сказочную песню тайной струны уставший художник уснул.

Через три месяца он с огромным разочарованием понял, что публике нравится примитив. Что люди не против лупоглазых кошек, статичного Эльбруса и каменных натюрмортов. И был удивлён, когда увидел, что лучшие его работы оставляют зрителей равнодушными. На них даже не смотрят, отдавая предпочтение тому, что не имело ценности. «Ну что ж, — решил Мигунов, — если такое дело, можно пойти народу навстречу». Он стал придумывать простенькие сюжеты, выжимать их из себя, вытаскивать. Не следовать тому, что подсказывало сознание, о чём нашёптывала вдохновенная струна и что само просилось на холст, а натужно писать пустышки. Ради экономии холстов он приловчился закрашивать картины, на которые более двух недель никто не засматривался, и писать поверх них новые.

Более понятные, декоративные. И такие «шедевры» продавались.

Активная торговля раздражала коллег. Художники бойкотировали удачливого соседа, не вступая с ним в разговоры. Однажды, уже перед зимой, Мигунов отлучился на несколько минут, чтобы попить минеральной воды. Когда вернулся, увидел, что несколько его картин испорчены. Кто-то разрезал полотна, и они болтались клочьями. Выругавшись, Мигунов оглянулся. Горе-мастера стояли на обычных местах и, казалось, были заняты созерцанием своих творений. Искать справедливости, ссориться с ними? Глупо. Эх... Не денег жалко, а поруганной души. Среди испорченных картин была и та, где продолжала плакать чернокожая гаитянка и тихо качалась на синих волнах обрубок толстого дерева. У Мигунова рука не поднималась закрасить эту работу. Он выставял её, но без всякой надежды на продажу. Лишь бы находилась рядом. С ней ему было тепло.

Увидев, что линия разреза прошла по фигуре девушки, Мигунов вздрогнул, похолодел, а потом к горлу подступила тошнота. Он убежал за киоск, где его вырвало. В груди стало больно, как будто там лопнула струна, дающая вдохновение. Мигунов замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Так и есть: душу объяла пустота, в которой не было место арфе. Он вытер губы и долго стоял, приводя чувства и мысли в порядок. Вроде полегчало. Собрав картины, ушёл домой и несколько дней бездумно валялся на диване, слушая крики попугая. Приходила жена, сын с внуками. Он машинально что-то отвечал, ужинал с ними, но пребывал в потере. Морщины на лице углубились, концы бровей печально повисли вниз. Он курил больше обычного и много молчал. Жена пробовала успокоить его:

— Жили без этих денег и дальше проживём, — приговаривала она, поглаживая супруга по спине. — Ну, испортили четыре холста. Забудь.

— Да не в деньгах же дело, Маша!

— А в чём, Коля?

— В душе, в душе! В которую плюнули. Представь, я не могу теперь писать картины. Что-то надломилось внутри.

— Разучился?

— Не разучился. Души в них будет мало. А без

души зачем холсты портить? Стать похожим на одного из тех, кто Эльбрусы и кошек штампует? Понимаешь, ушло настроение, исчез полёт, руки не просят красок.

— Ну-у-у, — протянула жена, — если не разучился, можно и без души. Можно и без настроения рисовать. Главное, деньги будут. А в наше время, сам понимаешь, они лишними не бывают. Ты отдохни, отдохни, и всё наладится.

— Эх, Маша, Маша. Пойми, испортили лучшую вещь! Ведь я писал не ради наживы. От чистого сердца, повинуюсь вдохновению. А это выше всего, потому что не имеет границ. Ведь когда во мне вдруг проснулось художество, я будто вышел за горизонт. Увидел мир таким, каким раньше не видел! Я был здесь, в комнате, но был далеко от неё. Там, где находились корабли, шёл тропический ливень или жарило нездешнее солнце. Я жил вместе с героями, дышал воздухом, которым дышали они! Лазил на скалы, на которые они взбирались! А сейчас? Я снова не вижу горизонта! Снова тупик и духота.

— Правильно, не видишь, потому что из нашего окна его не видно.

— Да я о другом! О другом горизонте говорю. Эх, Маша, как надоел мне этот ковёр. Осточертел. Может, сменим?

— Теперь к коврику прицепился. Он-то в чём виноват? Ещё сто лет прослужит. Деньгами сорить незачем.

— Оставь меня. Хочу подумать.

Он несколько раз подходил к мольберту и уходил, не в силах к нему прикоснуться. Тем не менее в понедельник неожиданно вспомнил, что хотел купить зимние шины на автомобиль, поэтому сел за работу, понукая себя мыслью о желанной покупке. Писать картины без ощущения музыки внутри себя было непривычно. Ещё недавно всё вокруг забывалось, оставалась только однострунная арфа. Она струилась нежнейшей вдохновенной мелодией, которая заполняла слух Мигунова изнутри, оживляя каждую клеточку организма неизъяснимым восторгом. Теперь же внутри зияла темнота, а его слух отравлялся визгами телевизора, шагами жены, криками попугая, гудением автомобилей, скрежетом близкого лифта. Шумовая отравка была привычной. Интоксикация от неё, так же, как и от сигарет, воспринималась в ка-

честве неотъемлемой части жизни. А раньше? Заслышав звуки струны, Мигунов улетал в неведь какие дали, отдавал полёту всю энергию до последней капли и возвращался, как сдутый пузырь. Неизвестно, как оно лучше-то: или со струной, или без неё.

Так, мало-помалу Мигунов снова взялся за кисти и продолжил выжимать из себя сюжеты и темы для этюдов. Он видел, что этюды, а за ними и картины выходили вялые, тусклые по внутренней наполненности. Однако технически были безупречны. Гладкие для восприятия, они не затрудняли взгляд покупателей поисками потаённого смысла. Да и кому он нужен, этот смысл? Люди устали от безденежья, от безнадёжности. Свой взор останавливали на том, что отвлекало их от тяжких дум, на чём-то ярком и понятном. Мигунову нынешние свои картины не нравились, но он продолжал трудиться, потому что зимние шины он купил, теперь нужны были новые колодки для машины.

Полного погружения в сюжет не происходило. Мигунов смотрел на своих героев отстранённо, холодно, не зажигаясь от происходящего на полотне. «Однако в каком-то смысле, — думал он, — такое положение дел сберегает нервы». В их с женой возрасте это не лишнее. Да, творить под звуки внутренней струны, по звучанию похожей на арфу, прекрасно. Это поднимало его на огромную высоту! Кидало за горизонт, делало взгляд всеобъемлющим, проникающим в суть предметов! Но ведь как выматывало, как забирало силы! Буквально выхолащивало, опустошало. И приходилось курить сигарету за сигаретой и без меры заливать в себя кофе. А так, без струны, малой себе на здоровье! Тишь да гладь. Главное, чтобы было в тему, чтобы нравилось толпе.

IV

Зимой продажи упали. Отдыхающие окружающие уличный вернисаж Мигунова, подолгу рассматривали некоторые из картин, но денег не доставали. Особенно любопытные задавали вопросы о том, с какой натуры были срисованы скалы, район города или девичье личико. Мигунов в ответ раздражался и ничего не отвечал. Как объяснить бестолковым, что вся его натура

— в голове? Что денег не наберёшься ездить по всем местам, что изображены на полотнах. С другой стороны, подобные вопросы удовлетворяли его авторское самолюбие: если спрашивают, значит, видят интересное для себя, значит, что-то цепляет в картинах.

Однажды к нему приблизилась компания из троих молодых мужчин, одетых щеголевато, по-европейски, в дорогие тёмные пальто и вязанные шапки. Поздоровались и принялись внимательно рассматривать выставку. О чём-то переговаривались между собой и поглядывали на курящего, съёжившегося от холода Мигунова.

— Это ваши работы или вы только продавец? — спросил один, в рыжих замшевых ботинках.

— Мои, — буркнул Мигунов. Почему-то он испытывал к незнакомцам враждебное чувство.

— Недурно, весьма недурно. Весьма неожиданно встретить в провинции тонкую выразительность. Вы долго пишете одну картину?

— По-разному. Могу за день. Или за неделю. Смотря как работа пойдёт.

— Прекрасно. Не хотите выставиться в Москве?

— Не понял?

— Вы собираете все свои работы, приезжаете в столицу, а мы организуем для вас вернисаж в нашем арт-клубе. Довольно известный в Москве.

— Для вас это ничего не будет стоить, — добавил второй, укутанный в полосатый шарф. — Только проживание в гостинице. Если, конечно, захотите присутствовать во всё время выставки. Обычно такие мероприятия длятся по месяцу.

Эти трое выжидательно уставились на Мигунова.

— Что мне это даст?

— Известность. И двадцать пять процентов от продажи картин. Остальное — арт-клубу. За аренду и организацию проекта. Понадобятся реклама, презентация, фуршет. Что скажете?

— Не-е-е-е, братцы. Это не для меня.

— Почему?

— Мне и здесь хорошо. Своя клиентура, весь доход мой.

— Ну, смотри, — насмешливо произнёс третий. — Если предпочитаешь стоять на морозе,

дело твоё. Вот наша визитка. Надумаешь — звони. Картины у тебя классные, коммерческий нюх у тебя отличный. Такое нечасто встретишь. Можно было бы сделать хорошие деньги. Подумай.

Мужчина сунул в руки Мигунова визитку, и трицца, попрощавшись, удалилась.

Дома он долго обсуждал с женой тему поездки, и оба пришли к выводу, что дело это зыбкое. Ехать в Москву, тратить деньги, а будет ли результат? Нет, нет, всё остаётся как есть. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Во время разговора что-то затрепыхалось в груди Мигунова. Заволновалось и начало расти, пробуждая забытые возвышенные чувства. Как будто давешняя творческая струна, возродившись, приготовилась снова запеть. На секунду показалось, что ещё мгновение — и горизонт раскроет ему свои объятия, что сюжеты и образы, как бывало прежде, польются из подсознания, а руки сами запорхают над мольбертом. Но Мигунов усилием воли стряхнул с себя наваждение. Рассудок взял верх. «Нет, деньги надо зарабатывать с холодной головой, без всяких там полётов в никуда», — подумал он и сказал жене:

— Ехать в Москву — значит, бросить жилу, которую только-только нашупал, отдаться искусству. А мне хочется побывать на море. Как считаешь? Заработаю денег, поедem в Турцию. Хочу ещё раз вдохнуть морского воздуха.

Супруга в ответ согласно кивнула.

V

Три последующих года Мигунов упирался изо всех сил. Работал у мольберта каждый день, не давая себе отдыха. В результате набил руку и мог рисовать с закрытыми глазами — настолько изучил размеры холстов и настолько часто повторялись сюжеты картин. Писал их быстро, не задумываясь. Шёл по намеченному плану, ни шага в сторону. Для облегчения усилий и для увеличения скорости теперь не брезговал шаблонами. Набрасывал на два-три холста один и тот же рисунок, затем раскрашивал с точностью до сантиметра. В итоге получалось несколько одинаковых полотен, которые разлетались в течение двух-трёх недель. А если не

разлетались, он молниеносно, без сожаления замалёвывал их, нанося новый рисунок. Казалось, и мыслить Мигунов стал шаблонами: столько-то картин в работе, столько-то готовы к продаже, столько-то заработано денег. Если рисовал море, то непременно с прогулочным кораблём и белой палубой, на которой изящные девицы потягивали коктейли из бокалов. Если городской пейзаж, то обязательно с кустом облетающей сакуры. Если портрет, то исключительно тонкого, с правильными чертами молодого лица.

Он подружился с художниками, когда-то испортившими четыре его холста. Покуривая, вместе с ними рассуждал о неразвитости художественного вкуса отдыхающей публики, которая приезжала в Ессентуки попить минеральной воды из разных концов России. Смеялся над простодушной наивностью людей, которые выбирали картины исходя из желания украсить квартиру. Мигунов теперь хорошо разбирался в запросах чужаков. Знал, что именно нужно рисовать для прихожей, для кухни, а что для спальни комнаты. Различия между этими задачами были существенны, и относиться к ним следовало со всей серьёзностью. В противном случае зрители чувствовали подвох, насмешку и с обиженным видом уходили прочь.

Так, на кухню требовались только яркие натюрморты и лирические пейзажи. И ни капли абстракции! Иначе — не купят. Для прихожей предполагались гарцующие лошади, охотники с собаками, средневековые замки или городские виды. И опять же — никакого потаённого смысла. Всё должно лежать на поверхности. Для спальни брали цветы и жанровые сценки, в которых допускался намёк на любовь. Желательно на счастливую, чтобы радовала глаз и веселила сердце. Всему, связанному с морем, отводилось место в гостиной, в зале. Там же могли повесить картины с изображением Эльбруса, Машука, Бештау. Да, горы Кавказа и другие популярные туристические места Кавказских Минеральных Вод заняли прочное место в работах Мигунова и больше не казались ему чем-то недостойным его внимания.

Исчезла нужда в деньгах. Семейный бюджет укрепился. Они с женой расслабились и задышали спокойнее. О деньгах уже не думали, не

считали рубли. Всё, что уходило на холсты и краски, не шло ни в какое сравнение с доходами от продажи картин. Оказалось, что даже в трудное время люди не чураются прекрасного. Да, конечно, то, что теперь создавал Мигунов, находилось далеко от настоящего искусства, но всё равно было вправе таковым называться, ибо выражало его эстетическое отношение к миру. А уж какова эта эстетика — его личное дело и никого больше не касается. Главное — за неё дают деньги.

Через три года он подкопил сумму, чтобы лететь на Средиземное море. И они с Машей отправились в путешествие. Посмотрели Турцию, поплавали, понежились на пляже, попробовали знаменитую пахлаву и пишмание из сахарного сиропа и обжаренной муки. Вернулись довольные, загорелые, полные солнечной энергии. Мигунов прилетел воодушевлённым. Две недели он мечтал о том, что по возвращении домой тотчас сядет за мольберт и будет рисовать, рисовать! Отдаст холсту новые впечатления, выплеснет наружу печаль от встречи с морем. Печаль, граничащую с восторгом. Прочь, прочь шаблоны! Прочь комнатные жанры с их пустотой и несносной убогостью! Прочь запросы публики! С этого момента — только истинное, одухотворённое искусство. Только то, что идёт от сердца. О, сколько прекрасных картин возникало в его воображении, сколько выразительных образов толпилось в его голове! И всё это восхитительное великолепие срочно просилось на полотно.

Мигунов так и сделал. Оставив жене разбирать чемоданы, переоделся в домашнее и стремительно бросился к мольберту, испытывая жгучее желание творить высокое, вечное, мудрое. Творить красоту. Таковую, какая ещё не появлялась в его галерее. Он быстро, привычным жестом установил холст, взял кисть, нетерпеливо открыл краски, сосредоточился, весь уйдя в свои мысли, занёс руку над мольбертом и — беспомощно замер. Серый холст смотрел на него и, казалось, давил чистотой, которую Мигунов почему-то страшился нарушить. Рука не двигалась навстречу будущей картине. Холст, будто почуяв нерешительность Мигунова, осклабился. Возможно, это была игра теней, падавших из окна. Но Мигунов не сомневался:

ему в лицо злорадно усмехался холст. «Наверное, дорожная усталость, — подумал он и потянул головой. — Сутки не спали. Мерещится всякая ерунда». И он пошёл на кухню к жене, которая готовила чай.

После чая прилёг отдохнуть, а вечером, при свете лампы, снова встал к мольберту. История повторилась. Он не мог сделать и одного мазка. Рука была словно замороженная. Словно кто-то сдерживал её, не давая водить кистью по холсту. Когда же Мигунов, взмокнув от напряжения, сумел-таки начать рисунок, он с ужасом ощутил скованность во всём теле. Несвобода! То, что появлялось на холсте, было далеко от совершенства и напоминало технику, в которой он работал последние два года. «Халявная» — так он её называл, подразумевая живопись на скорую руку, ради лёгкого заработка. Морской пейзаж, который Мигунов силился воссоздать, был похож на шаблонную картину для гостиницы. Ничёмность интерьерного жанра поразила его. Убила. Как ни пытался, он не мог выйти за рамки укоренившейся привычки. Под рукой рождалась очередная серость, пустая внутри, но технически безупречная. Не об этом мечтал Мигунов, а о чём-то, близком к гаитянской теме. О картине, где каждый мазок одухотворён и проникнут светом.

Со страшной силой захотелось взвыть. И он бы взвыл, если бы не жена, которая после чая включила наконец телевизор и жадно уставилась на экран. Не стоило пугать Машу. Поэтому Мигунов тихо опустился в кресло рядом с мольбертом и окинул взглядом комнату, в которой отсутствовали попугай и кошки — их перед отъездом отнесли к сыну. Он снова услышал страх в своей груди. То был страх грядущей близкой старости, мерзкой, как и его последние картины.

ТАЙФУН

рассказ

Буря налетела на город Янтай внезапно. Среди ясного летнего вечера, после раскалённого жарой дня. С моря, что весьма неожиданно для нашего тихого заливчика, где вода почти не колышется, как в застывшем деревенском пруду. Её слабое движение становится заметным во времена отливов и приливов, когда, покрывшись мелкими волнами, она лениво отступает от берега, обнажая ровное, всё в ракушках, дно, и когда нехотя возвращается назад, на старое место, недовольная тем, что приходится подчиняться неведомой силе, рождённой в сотнях милей отсюда. Морская даль здесь не кажется необъятной. Ограниченная резкой дугой суши, которая сужается с двух сторон к горизонту, к верхушкам зелёных островов по краям берегов, она вызывает недоумение. Хочется простора. В безмятежном спокойствии волн нет и намёка на глубинную мощь океана. Оно и понятно, ведь эта часть Бохайского залива, основательно вдаваясь в землю, прячется в небольшой бухте, куда океанская сила просто не доходит. Она пронесётся мимо. Тем неожиданней были внезапность и скорость, с которыми ураган обрушился на город. Солнце пропало, скрывшись за тяжёлыми, мохнатыми тучами, небо потемнело, словно залитое чернилами, грозящими потечь вниз... Воздух приобрёл оттенок странной желтизны, источника которой не было видно, и в раскрытые окна понесло мокрый холодом и брызгами.

Дом наш находится через дорогу от моря, на возвышении, и стоит таким образом, что просторный балкон квартиры обращён к плоскому берегу. Мы любим сидеть тут по утрам за чашечкой горячего кофе и смотреть на далёкий горизонт, на море, всегда спокойное, на тихую набережную, украшенную гранитными шарами, и болтать ни о чём. Поднявшийся на улице ветер заставил меня оторвать-

ся от письменного стола. Услышав, как хлопнула стеклянная дверь, как загремели упавшие на пол шезлонги, я поспешил на балкон, чтобы закрыть окна, и задержался, невольно засмотревшись на улицу, удивляясь столь быстрой перемене погоды.

Весь горизонт закрыли тяжёлые тучи. Как фантастические клубки намокшей, неряшливой пряжи, они возбуждённо громоздились вдаль над беспокойным, напуганным морем, не уместаясь в небе, толкали друг друга в бока и с грохотом валились одна за другой вниз. И небо, и вода, и набережная с дорогой — всё было одного, грязно-серого, безнадежно мрачного цвета. Всё казалось взбудораженным до предела! Тучи напряглись, готовые взорваться, а море пыжилось, чтобы, набравшись храбрости, вскипеть и броситься им навстречу. Сверкнула молния, грянул гром, небо лопнуло наконец и смешалось с вмиг забурлившим морем! Я едва успел закрыть окна, как в них ударил ливень. Наш ласковый заливчик разбушевался не на шутку! Вода в неистовом восторге билась о набережную, словно доказывая, на что была способна, и это выглядело страшно. Украшенные пеной волны выскакивали из темноты и в бешенстве кидались на берег, стремясь восстать выше столбов. Не было видно ни гранитных шаров, ни фонтана, ни маленького домика в начале пирса, одни только фонари, загоревшиеся от страха перед упавшим небом, жалобно мигали между накатами воды, да и они вскоре погасли.

Поражённый, я стал вглядываться в черноту, надеясь увидеть хотя бы шар — грандиозное сооружение размером с десятиэтажный дом — сплошь покрытый зеркальными пластинами, стоящий на конце пирса, метрах в двухстах от берега. Днём он сверкает, притягивая солнечные лучи и становясь похожим на гигантскую драгоценную брошь, приколотую к зеркальной поверхности залива, а с наступлением вечера загорается разноцветными огнями, превращаясь в ещё более фантастическое украшение, тёмная вода вокруг которого отражает каждый его блик. Складываясь в пазы иероглифы, огни обнимают шар

снизу доверху, скользя по его поверхности короткими фразами вроде: «наш город самый красивый. Мы любим наш город», — отчего кажется, будто кто-то огромный, невидимый пишет прямо в небе. Бегущие надписи можно легко рассмотреть из окна заходящего на посадку самолёта, но сейчас я ничего не видел даже с балкона квартиры, откуда привык любоваться серебряным блеском шара днём и его калейдоскопической яркостью вечером! Одна клокочущая чернота впереди, одна бушующая беспроглядность.

— Настоящий тайфун! — сказала жена, неожиданно вставшая позади меня. Я дико на неё оглянулся, удивляясь светлости её лица и восторженности зелёных глаз, не понимая, почему она сказала слова, которые не имела права произносить, или, по крайней мере, не должна была этого делать, помня, какой след оставила та история в моей душе. Я не любил вспоминать прошлое и почти забыл... но эти слова... Они напомнили о том, как когда-то, давным-давно, когда я был молод и подвержен всяческим романтическим настроениям, а в любви больше всего ценил разряды тока, сотрясавшие тело в минуты страсти, я услышал их из уст другой женщины...

— Настоящий тайфун! — воскликнула та, другая, разжимая мои руки и высвобождаясь из моих жадных объятий. Она перекатилась в сторону, поправив своё коротенькое платье, и легла рядом, распластавшись на новеньком коричневом пледе, схваченным мною на ходу с кровати и раскинутым под кустом черёмухи. Я тоже перебрался на плед. Вдалеке была слышна дорога, а над нами висела тишина... Это было наше первое свидание. Мы приехали сюда на следующий день после того, как познакомились на дне рождения у моего нового друга Мишки М., с которым мы жили в одной, устроенной под холостяцкое общежитие, квартире.

Я тогда только что приступил к службе и ещё не вполне освоился с положением молодого офицера, закинутого в глубинку Забайкальского округа, куда приехал с горячим желанием достичь невероятных успехов в охране государственной границы и сделать карьеру.

Два месяца назад я окончил училище, мне исполнилось двадцать два года, и в своём ловко подогнанном к фигуре обмундировании казался себе настоящим красавцем. Всё вокруг было внове, незнакомо и интересно, всё выглядело увлекательным и стоящим моего внимания.

Натали была из «местных». Работала она в почтовом отделении, была лет на пять старше меня и очень хороша собой: статная, большеглазая, с выразительным, вечно смеющимся ртом, жёсткими, угольного цвета волосами и упругой грудью, которую она бесстыдно выставляла вперёд, как боевое оружие, с помощью которого хотела сразить врага. Любуясь странным разрезом её чёрных глаз, сильно удлинённых к вискам, глядя на то, как она ступает внутрь носками, немного косолапя, я думал о её предках. Наверное, среди них должны быть казаки, в семнадцатом веке осваивавшие Забайкалье — вот откуда рост и гордая осанка! — и какая-нибудь тунгусская девушка знатного рода, от которой Натали досталась и эта походка, и этот смелый, вызывающий взгляд.

Она пришла к окончанию вечеринки. Протиснувшись между мной и Мишкой, присела, молча взяла сигарету из пачки, обернулась с выжидающим видом и стала насмешливо наблюдать за моими излишне быстрыми движениями, наслаждаясь впечатлением, которое произвела. Что-то вспыхнуло во мне! Я дернулся, поправив модный ремень, купленный перед отъездом из Москвы, и лихо щёлкнул фирменной зажигалкой, с неясной тревогой разглядывая смуглую кожу Натали и чувствуя, как от цветочного запаха её губ начинает кружиться голова, а от близости её ног под столом дрожат колени. Твёрдо взяв мою руку в свою, Натали сжала её, медленно прикурила, не отрывая от меня своего крепкого изучающего взгляда, я покраснел как мальчишка и ...пропал.

Она сама предложила свидание после того, как Мишкина подруга поставила на стол пышный пирог с чернеющей серединкой и я, попробовав его, спросил, что за начинка. Девушка сказала, что это здешняя черёмуха, пе-

ремолотая с сахаром. В ответ я громко заявил, борясь с накатившей на меня стеснительностью:

— Не знаю такой ягоды! На Украине растёт черёмуха, выше дуба попадается! Но никогда не слышал, чтобы из неё делали пироги!

Натали снова на меня посмотрела, на этот раз с материнской жалостью, и тихо произнесла:

— Могу прокатить. Сами увидите.

Мишка услышал и закричал, направляясь в кухню за девушкой, чтобы помочь ей приготовить чай:

— Ты поезжай! Обязательно! Уверю — бесподобно красиво! Не пожалеешь! — и захохотал вместе со своей подружкой.

На другой день, в обед, я сел на заднее сиденье старенького двухколёсного мотоцикла, ухватился за Натали, и мы полетели по разбитой щебёнчатой дороге куда-то далеко за посёлок, в широкую степь. Свернув подальше от дороги, остановились возле небольшого лесочка под маленькой сопкой, и оба в нетерпении спрыгнули с мотоцикла. Кое-как расстелив рядом с ним плед, я накинусь на девушку, словно лев на добычу, будто желая смять, растерзать, уничтожить её, такая во мне кипела страсть.

— Как же черёмуха? Она созрела... — не сопротивляясь моей свирепости, нежно прошептала Натали и упала вместе со мной на траву, под усыпанный чёрными ягодами куст. Потом мы лежали и долго хохотали — неизвестно над чем. Посмотрим друг на друга — и зальёмся! До слёз, до колик в животе, пока не устали. Поднявшись, Натали нарвала черёмухи, целую пригоршню, и стала кормить меня, отрывая черенки и кладя ягоду на мои губы. Незабываемое ощущение! Черёмуха оказалась не сладкой, очень терпкой на вкус, она резко отличалась от всех знакомых мне ягод. Я сказал, с трудом разлепляя губы и отдирая язык от нёба:

— Странная ягода, невкусная, а есть хочется, — а про себя подумал — она здорово подходит к этому дикому краю и к моей возлюбленной, далёкой от пошлых, ненужных прелюдий, смелой и свободной как сама степь.

Натали тоже съела несколько ягод, и рот и язык её стали чёрными... Я снова кинулся к ней. Тогда-то она и сказала про тайфун, едва отдышавшись от моего нового нападения, а я и впрямь почувствовал себя так, будто состоял из одной только жидкости, всё во мне дрожало и бурлило, словно кто сунул внутрь меня кипятыльник...

Служба показалась мне чем-то уродливым, мешающим встречаться с моей Натали. Будучи не в силах дожидаться, когда девушка позвонит и скажет: «вечером заеду!», я сам звонил ей, требуя свиданий. Несколько раз наши встречи срывались из-за моих дежурств, я готов был сбежать, нарушив присягу, лишь бы увидеть её, мою большеглазую тунгуску, но в последний момент усмирал себя и оставался в кабинете, продолжая рисовать в записной книжке голую Натали. Мы умудрялись ездить к черёмухе во время обеденного перерыва или перед вечерней поверкой, при каждом удобном случае мы мчались туда. Натали скидывала с себя одежду, не боясь ни дороги за сопкой, ни моего безумия от её откровенности, и мы отдавались любви со всей пылкостью нашей молодости.

Мишка вскоре уехал в отпуск, это было очень кстати, потому что черёмуха облетела, предупреждая нас о наступлении холодов. Воспользовавшись случаем, я предложил Натали перебраться ко мне. Почти два месяца мы прожили как муж и жена. Рано утром я готовил завтрак на двоих, целовал сонную Натали, которая от счастья обнаглела и постоянно опаздывала на работу, и уходил к солдатам. А вечером, когда возвращался назад, Натали была уже дома. Она кормила меня ужином, после которого мы устраивались на кровати перед телевизором.

— Какой приятный плед, — заметила как-то Натали, глядя ворсистую поверхность.

— Подарок моей невесты, — машинально сказал я.

— Невесты?! — удивлённо переспросила она и, отбросив плед, спрыгнула с кровати.

Я опешил, не зная, как объяснить свои слова, как рассказать про девушку, о которой и думать забыл! Да, была у меня москвичка,

очень славная, скромная. Встречался с ней на последнем курсе, думая, что безумно влюблён, только потому, что в её присутствии мне хотелось петь! Невзирая на мои уговоры, девушка не решилась поехать в Забайкалье, убедив меня, что для начала нужно дождаться квартиры. И что сейчас я должен рассказывать? Что забыл о песнях, как только увидел Натали? Что во мне закипел котёл, готовый взорваться в любую минуту? Что Натали доводила меня до состояния, когда кровь начинала бурлить в жилах и всё вокруг казалось в бордовом свете? Или о том, что она остужала меня, принимая с радостью пыл моей любви? Разве «невеста» теперь имела значение? Я молчал.

— Невеста?! — с выражением ужаса на лице прошептала любимая и воскликнула плача: — Тайфун! Настоящий тайфун! Который всё разрушает!

Она бросилась одеваться. Я испугался её почерневшего лица и мигом вскочил на ноги.

— Знай! — крикнула Натали. — После нашего знакомства я перестала встречаться с женихом! Хороший парень, инженер, я ему честно обо всём рассказала, а ты?! Ты...

Девушка не находила слов. Её большие глаза стали узкими, лицо сморщилось и как-то сжалось...

— Никогда не оставляю тебя, — выдавил я не очень уверенно, глядя со страхом, как Натали натягивает колготки, которые рвались и лопались под её пальцами. Я попытался остановить её, протянув вперёд руки, но она уже надевала платье, нервно дёргая плечами и извиваясь своим гибким, сильным телом, будто дразнила меня напоследок — зло и открыто. Мне и вправду показалось невозможным, что я могу добровольно отказаться от моей любви.

— Дай мне подумать! — взмолился я.

— Думай! — крикнула гордая тунгуска и выбежала за дверь.

Она не отвечала на звонки целую неделю. Один раз я сходил на почту, но там была другая смена. Мне сказали, что Натали взяла отгулы. Я стал ждать, открывая каждый вечер окно в опустевшей квартире и прислушиваясь к улице. Прежде чем увидеть весёлый синий

мотоцикл, я надеялся уловить звук его мотора, чтобы выбежать навстречу, но — бесполезно. Натали не приезжала и не звонила. Раздражённый её упрямством, усталый от подозрений, я отправился в офицерский клуб, твёрдо намерившись отвлечься и поиграть в бильярд. В комнате было пусто. Уныло, в полном одиночестве покатал шары по истершемуся сукну некрепкого стола и приготовился уходить, как вдруг раздался голос Натали. Она шла по коридору и с кем-то громко разговаривала. Дыхание моё прервалось. По тому, как звучал её голос, низко и игриво, я понял, что девушка сильно пьяна, и тут же почувствовал, что снова превращаюсь в горячий котёл, что всё во мне закипает...

— Ах, бросьте! Бросьте! — смеясь, говорила Натали.

Я задохнулся, услышав, как она сказала, протяжно, призывно:

— Не трогай меня, иначе рассержусь!

При этих словах котёл взорвался, выбросив меня в коридор, где я увидел незнакомого молодого офицера в форме. Одной рукой он лез под кофточку Натали, а другой пытался поймать её болтающуюся из стороны в сторону голову, чтобы впиться своим мокрым, презрительным ртом в алые влажные губы девушки. Не помню, как бросился к ним и как ударил со всей силы офицера кулаком, с зажатым в нём бильярдным шаром. Парень успел уклониться, и удар обрушился на мою Натали. Почувствовав, как рука проваливается во что-то мягкое, жаркое, я потерял сознание.

Я сломал ей несколько рёбер. Натали попала в госпиталь, а меня не уволили благодаря вмешательству отца моей невесты, старого московского генерала, по заступничеству которого я был переведён в другой округ, в самый отдалённый отряд, куда немедленно приехала и его дочь, не дожидаясь квартиры. Около года мы снимали жильё. Это был самый тяжёлый для нас год, потому что я называл супругу чужим, ненавистным для неё именем, которое словно приросло к моим губам. Я звал её «Натали», не соображая, почему тихая москвичка вздрагивает и бледнеет, но постепенно привык к её имени, к её зелёным,

грустным глазам и даже полюбил мою жену, оказавшуюся заботливой и терпеливой женщиной, в дальнейшем разделившей со мной все тяготы пограничной службы и не только. То, что последовало за увольнением из войск, оказалось куда тяжелее, чем мы предполагали, но это уже другая история. Я почти забыл про Натали.

И вдруг, впервые за много лет — этот тайфун и эти слова. Разумеется, жена сказала их случайно, ведь я никогда не рассказывал ей о черёмухе и уж тем более о подробностях наших свиданий с Натали! О плече она сама благоразумно молчала, не спрашивала никогда, он так и остался в холостяцкой квартире. Но всё-таки её слова прозвучали неприятно.

— Да, настоящий тайфун, — повторил я, движением головы стряхнув с себя наваждение.

Проверил, плотно ли закрыты окна, и вернулся следом за женой в квартиру.

Буря бушевала весь вечер и всю ночь и успокоилась с восходом солнца. Проснувшись, мы побежали на балкон посмотреть, что она натворила, и ахнули: гранитные шары, невероятной силой сдвинутые с мест, были разбросаны по всей набережной словно надувные мя-

чики, повсюду валялись разорванные железные цепи и лежали упавшие фонарные столбы. Море выглядело грязным и ещё сохраняло тревожный, стальной оттенок, хотя движение волн было неторопливым и спокойным, как всегда.

— Завтра можно купаться! — сказала уверенно жена, увлекая меня на кухню завтракать.

Вера Владимировна СЫТНИК

родилась в городе Комсомольске-на-Амуре.

Филолог по образованию (ОмГУ).

Пишет прозу.

Автор двадцати книг для детей и взрослых.

Публиковалась в журналах «Берега», «Южная звезда», «Сура»,

«Новая скала», «Проспект», «Союз писателей» и др.

Лауреат литературной премии журнала «Сура» (2023),

а также международных конкурсов.

Обладатель специального приза от издательского дома РПЦ

на Международном Славянском форуме «Золотой витязь»

в номинации «Дорога к храму» (2018).

Рассказы переведены на английский, итальянский, немецкий языки.

В журнале «Север» публикуется впервые.

